

РЕЗОНАНС СФЕР



Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Резонанс сфер

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Резонанс сфер / Э. Сероусов — «Автор», 2026

2089 год. Радиоастроном Алексей Иванов, шесть лет прячущийся от вдовства в данных, ловит за орбитой Нептуна отклик — идеальную чёрную сферу диаметром пятьсот километров. Триумф Первого контакта готовят в прямом эфире; инженером миссии назначают его дочь Мару, с которой он не разговаривал шесть лет. Опальный физик Лена Тао предупреждает: сфера — не находка, а спящий инструмент, и рука человека вот-вот ляжет на клавишу, которую нельзя нажимать. Когда узор на корпусе окажется партитурой, а мир под ногами начнёт плыть, отцу и дочери придётся выбрать, кто из них войдёт в ядро и удержит ноту, знакомую с колыбели.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть 1. Сорванный звонок	5
Часть 2. Интерфейс, а не украшение	9
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Эдуард Сероусов

Резонанс сфер

Часть 1. Сорванный звонок

Иконка вспыхнула в нижнем углу экрана в 03:14 по московскому, и первое, что подумал Алексей Иванов, — не «дочь», а «шумовая дорожка». Он тянулся к вызову правой рукой, а левой уже разворачивал спектрограмму, потому что на ней, на четвёртой гармонике сигнала от «Дальнего-9», дрогнула линия, которой полгода полагалось лежать ровно, как мёртвой.

Имя стояло на экране белыми буквами: МАРА. Под ним — маленький кружок, вращающийся в ожидании.

Он смотрел на кружок и на линию одновременно. Линия дрожала. Не шум — шум он узнавал по вкусу, как сомелье узнаёт пробку. Это была не грязь в канале, не солнечный ветер, не разболтавшийся усилитель на «Дальнем-9». Это был отклик.

Палец завис над «принять». В ночном зале Центра дальней связи горели только его консоль да дежурная лампа над дверью; остальные тридцать рабочих мест спали синими заставками, каждая с логотипом миссии и медленно ползущей по экрану датой — восьмое июля две тысячи восемьдесят девятого. За панорамным стеклом лежала подмосковная тьма и три красных огня на мачтах антенн, которые он выпросил, выбил, вымолил у комитета шесть лет назад и которые теперь смотрели в одну точку неба за орбитой Нептуна. Где-то там, за четыре с половиной миллиарда километров отсюда, его зонд коснулся чего-то, чего касаться было нельзя, — и это что-то ответило.

Кружок под именем дочери провернулся ещё раз. И ещё.

Он знал, что она не позвонит дважды. Мара звонила раз — коротко, по делу, как проверяют пульс, — и если не брали, вешала трубку и не набирала неделями. Шесть лет их разговоры укладывались в этот ритм: её редкий звонок, его занятая линия, её молчание. Он всегда собирался перезвонить. Он был человеком, который всегда собирается перезвонить.

Линия на спектрограмме дрогнула снова.

Иванов опустил руку не на «принять», а на клавиатуру. Развернул отклик в полную ширину. Ввёл команду на повторный импульс — он делал это тысячу раз, движение жило в пальцах, а не в голове, — и отправил в темноту новый зонд, чтобы увидеть, повторится ли дрожь.

Иконка МАРА погасла сама. «Пропущенный вызов», — сообщил экран буднично и убрал строку.

Он этого почти не заметил.

Дрожь повторилась. Та же четвёртая гармоника, тот же сдвиг — на одну сотую, аккуратный, как подпись. Иванов откинулся в кресле, и два пальца правой руки сами застучали по подлокотнику: та-та, та-та-та. Он не слышал ритма. Ритм жил в нём отдельно, как сердце, — он давно перестал его замечать.

Шесть лет он гонялся за этим призраком. Гравитационные колебания в Солнечной системе, которых не должно было быть, — мельчайшие, на грани приборной лжи, аномалии, над которыми смеялись в первый год и молчали в последний. Он выстроил сеть зондов, назвал первый «Дальним» и остальные по номерам, и они ушли за Нептун слушать пустоту. Коллеги говорили: там ничего нет, ты гоняешься за собственным шумом, ты слышишь то, что хочешь слышать. Он и хотел слышать. В этом было спасение — сидеть ночами над данными, где нет ни Ани, ни Мары, ни вины, а есть только чистая, холодная, безупречная задача, которая никогда тебя ни в чём не упрекнёт.

Он вспомнил, как впервые заметил аномалию, — через восемь месяцев после похорон, когда возвращаться в пустую квартиру стало невыносимо и он остался в Центре на ночь, потом на другую, потом на все. Тогда он и увидел на старых архивных данных еле заметную рябь, которую все списывали на приборную ошибку. Все, кроме человека, которому больше некуда было идти. Он ухватился за эту рябь, как утопающий хватается за обломок, и рябь его вытащила — из горя в работу, из дома в зал, из жизни в данные. Он был ей благодарен. Он не задумывался, куда именно она его вытащила.

За эти шесть лет зонды стали ему семьёй ближе живой. Он знал их по именам, по повадкам: «Дальний-3» капризничал с ориентацией, «Дальний-7» врал по температуре на полгравитации, а Иванов делал поправку автоматически, любовно, как делают поправку на характер родного человека. Он провожал их запуски и встречал их данные, он не спал, когда они входили в тень, он говорил с ними вслух в пустом зале. Они уходили всё дальше от Солнца, в холод и тьму, и слали ему оттуда цифры, и цифры были единственными письмами, которые он получал и на которые умел отвечать. Пока где-то на Земле росла без него внучкина жизнь — Тим делал первые шаги, говорил первые слова, задувал свечи на тортах, которых дед не видел, — Иванов вёл в бортовые журналы летопись машин, и в этой летописи был аккуратен и нежен так, как никогда не умел быть с людьми. Он построил себе семью из приборов, потому что приборы не умирают внезапно посреди фразы и не смотрят на тебя в морге сухими глазами. Он думал, что спрятался. Он не знал, что прятался в единственном месте, где беда как раз и зрела, — и что его нежные, послушные зонды все эти годы, письмо за письмом, будили за Нептуном то, что убьёт их всех.

Пустота была не пуста. Пустота дышала. И вот теперь она задышала чаще.

— Реагирует, — сказал он вслух, в пустой зал. Голос прозвучал чужим. — Ты реагируешь на меня.

Он не знал ещё, что это была самая точная и самая страшная фраза, какую он произнёс за свою жизнь.

Утром он проспал совещание и проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо. Это была Лена Тао — маленькая, злая, с бумажным блокнотом под мышкой среди мира, где давно никто не писал на бумаге.

— Ты видел? — сказала она вместо «доброго утра».

— Я это и снял.

— Не отклик. — Она бросила блокнот ему на стол, и он увидел ряды цифр, выведенных от руки, с нажимом, будто она вдавливала их в бумагу. — Период. Между откликами. Он сокращается.

Иванов сел ровнее. Во рту стоял вкус вчерашнего кофе и бессонницы.

— Каждый следующий приходит раньше предыдущего, — сказала Тао. — Не линейно. По кривой. Знаешь, как это называется, когда система отвечает всё быстрее на всё то же воздействие?

— Резонанс, — сказал он тихо.

— Разгон, — сказала она. — Это называется разгон, Алёша. Мы что-то будим.

Она села на край стола — привычка, за которую её не любило начальство, — и понизила голос, хотя в зале всё ещё не было никого.

— Я прогнала твой ряд на три модели вперёд. Все три сходятся: то, что там просыпается, выходит на плато через несколько недель. Может, дней. — Она посмотрела на него в упор. — И мы каждым зондом сдвигаем срок ближе. Понимаешь? Мы не наблюдаем пробуждение. Мы его ускоряем. Чем внимательнее смотрим, тем быстрее оно открывает глаза.

— Ты говоришь так, будто у него есть глаза.

— Я говорю так, будто у него есть порог, — сказала она. — Как у лавины. Ты можешь двадцать лет кричать в горах и ничего. А можешь крикнуть один раз в неправильную минуту. Мы кричим уже шесть лет, Алёша. И минута, кажется, наступает.

За стеклом занимался серый рассвет, и антенны на мачтах медленно поворачивались, слепо нащупывая в небе точку, которой полгода назад ещё не придали значения. Иванов смотрел на цифры Тао и чувствовал, как в груди поднимается — стыдно признаться — не тревога. Восторг. За полгода до того, как он поймёт цену этого восторга, он ощутил его чистым, как ребёнок, и это чувство он потом не сможет себе простить сильнее всего.

— Оно там не одно, — сказал он. — Оно слишком правильное, чтобы быть одно.

— Ты опять слышишь музыку там, где надо слышать сирену, — сказала Тао и забрала блокнот. У двери она обернулась. — Останови зонды, Алёша. Хотя бы на неделю. Дай мне доказать, что я ошибаюсь. Я очень хочу ошибаться. — И, не дождавшись ответа, вышла.

Он не остановил зонды. Он сказал себе: ещё один цикл, чтобы понять структуру отклика, — и отправил в темноту новый импульс, и темнота ответила ему быстрее прежнего, почти охотно.

Только к полудню он увидел в углу экрана серую строку: «Пропущенный вызов: Мара, 03:14».

Палец завис над номером. Он представил её лицо — как она поджигает губы, тот самый жест Ани, — и представил, что скажет: «Пап». Одно слово, в котором за шесть лет не осталось ничего, кроме льда. О чём она звонила в три часа ночи? Что-то с Тимом? Или — он поймал себя на этой трусливой надежде — просто ошиблась номером, и не нужно ничего говорить.

Он набрал сообщение. Стёр. Набрал снова: «Видел твой звонок. Всё в порядке?» Посмотрел на эти четыре слова и увидел в них всю свою отцовскую скудость — вопрос вместо тепла, справка вместо руки. Стёр и это. Сказал себе — вечером, когда будет что сказать. У него никогда не было что сказать, кроме работы, а работой её было не удержать. Он закрыл строку и вернулся к цифрам, и цифры приняли его, как всегда, без упрёка.

Он не помнил, когда в последний раз говорил с внуком. Помнил только неловкость. На прошлый день рождения — Тиму исполнилось шесть — он прислал набор «Юный астроном», телескоп с линзами не по возрасту, и вышел на видеосвязь, и мальчик держал перед камерой коробку, которую не мог открыть, и вежливо, заученно говорил «спасибо, дедушка», а Иванов не знал, о чём с ним говорить. Он попробовал про звёзды. Тим сказал: «А ты придёшь?» Иванов сказал: «Обязательно, как только закончу работу». Тим кивнул — он уже, в шесть лет, знал цену этой фразе, выучил её от матери, — и убежал играть, и Вера, поджав губы совсем по-Мариному, выключила связь. Иванов тогда посидел минуту с чувством, которому не давал имени, и вернулся к пультам, и чувство растворилось в данных, как всё растворялось в данных. Он умел любить только на расстоянии в четыре с половиной миллиарда километров. Вблизи у него не получалось; вблизи он терялся, как турист без языка.

В четыре пополудни в зал вошла картинка из дома — не по его вызову, автопоказ семейного канала, который он когда-то настроил и забыл выключить. На стене, в углу, беззвучно ожил кусок чужой, тёплой жизни: кухня Веры, желтоватый свет, мальчик за столом рисует. Тим. Внук, которого Иванов видел живьём дважды — на крестинах и один раз, случайно, в аэропорту, четыре минуты между рейсами. Рядом Вера — узел седых волос, руки в муке — что-то говорит, и по движению губ, по покачиванию головы Алексей понял: она поёт.

Он прибавил звук на одно деление.

— ...спи, моя радость, усни, — донеслось тихо, с помехой, и дальше, вверх, на том самом восходящем интервале, от которого у него всегда сжимало горло, — в доме погасли огни...

Это была колыбельная Ани. Аня пела её маленькой Маре, стоя в дверях, привалившись плечом к косяку, и Алексей, проходя мимо со стопкой распечаток, всегда думал: потом. Потом послушаю. Потом постою рядом. Потом мы состаримся, и я наконец научусь быть дома. Аня умерла в понедельник от аневризмы — мгновенно, посреди фразы, как обрывают строку, — пока он делал доклад в Вене, и «потом» кончилось, не начавшись. Он прилетел через сутки. Мара встретила его в морге сухими, страшными глазами и сказала одну фразу, которую он носил в себе с тех пор, как носят осколок у сердца: «Она звала тебя. Я сказала, что ты уже летишь». Он не летел. Он в это время отвечал на вопросы из зала.

Теперь Вера пела это Тиму, и восходящий интервал полз вверх, к той же ноте, и Алексею вдруг показалось, что он её уже слышал сегодня. Не вспомнил — где. Отмахнулся: усталость, наложение, мозг ищет узоры там, где их нет, — профессиональная деформация человека, который шесть лет вслушивается в шум.

Он убавил звук до нуля. Картинка осталась — беззвучная кухня, поющая старуха, рисующий мальчик, — и он работал под ней весь вечер, спиной к теплу, лицом к темноте за Нептуном. На рисунке Тима, он заметил краем глаза, был чёрный круг и вокруг него палочки-лучи, как рисуют солнце дети, только солнце было чёрным. Он не придал значения. И два пальца его правой руки всё отбивали по столу: та-та, та́-та-та. Вверх. На той же ноте, которую он всё никак не мог вспомнить, где слышал.

Часть 2. Интерфейс, а не украшение

Через девять дней у аномалии появилось лицо, и лицо было идеальным.

Зал больших брифингов Центра залили светом, какого он не видел годами, — рабочим, дорогим, телевизионным. Развесили новые панели, привезли гримёров, вдоль стен поставили камеры на штативах, и между ними ходили молодые люди в наушниках и что-то тихо говорили в воздух. На главном экране висел объект: сфера. Пятьсот километров в поперечнике, чернее любой черноты, какую умели рисовать приборы, — не тёмная, а *отсутствующая*, будто кто-то вырезал из пространства идеальный круг и забыл вставить обратно. По корпусу шёл узор. Тонкие светлые линии, петли, соединения — они не лежали на поверхности, они словно всплывали из-под неё и снова тонули, и от этого сфера казалась не мёртвой, а спящей, и дыхание её было медленным.

— Дамы и господа, — сказал директор Орлов, и его гладкий голос заполнил зал, как тёплая вода ванну, — мы больше не одни.

Орлов был безупречен. Костюм сидел на нём так, будто ткань боялась помяться; он говорил, не глядя в бумаги, глядя в камеры, которых в зале стояло больше, чем учёных. Он говорил «первый контакт» и «наследие человечества», он говорил «прямой эфир на весь мир», и зал слушал его, приоткрыв рты, и только в третьем ряду сидела Лена Тао и писала в блокноте, вдавливая карандаш так, что было слышно.

— Пилотируемая миссия «Гармоника» стартует через шесть суток, — сказал Орлов. — Новые двигатели доведут её до объекта за девятнадцать дней. Экипаж уже сформирован.

На боковом экране пошли лица. Командир. Врач. Бортинженер.

Иванов увидел третье лицо и перестал дышать.

Коротко стриженная. Шрам на брови — упала с гаража в девять лет, он тогда был в экспедиции, узнал через неделю, привёз ей в подарок метеоритное железо, а она уже забыла и про падение, и, кажется, немного про него. Ледяные, ровные глаза Ани.

— Инженер систем — Мара Иванова, — прочитал Орлов и, найдя Алексея взглядом в зале, улыбнулся ему так, будто делал подарок и хотел, чтобы это видели камеры. — Символично, не правда ли. Отец нашёл — дочь коснётся. Семья, соединённая наукой.

Зал заплодировал. Кто-то из молодых людей в наушниках развернул к Иванову камеру, и он ощутил на лице её мёртвый стеклянный взгляд. Он сидел прямой, как палка, и слышал только, как в ушах бьётся его собственный пульс — та-та, та-та-та, — и не мог понять, гордость это в нём поднимается или ужас, и почему они на вкус одинаковы.

После брифинга он пробился к Орлову сквозь толпу помощников.

— Вы не имеете права её посылать, — сказал он тихо. — Объект реагирует на воздействие. Мои данные...

— Ваши данные — золото, Алексей Петрович, — не сбавляя шага, ответил Орлов и мягко взял его под локоть, разворачивая от камер, понижая голос до задушевного. — И именно поэтому мы не будем ими пугать людей. Вы двадцать лет ждали своего дня. Он настал. Не превращайте триумф в панихиду. — Он улыбнулся, и в улыбке была сталь. — А Иванова — лучший инженер своего выпуска. Она заслужила это место сама. Или вы хотите отнять у неё то, что она заработала, из отцовских страхов, которых у вас, простите, шесть лет не было повода проявлять?

Удар был точен. Иванов замолчал. Орлов похлопал его по плечу и ушёл к камерам, а Алексей остался стоять посреди пустеющего зала, и правда орловских слов жгла его сильнее лжи.

Он поймал её в коридоре после, у лифтов, где было пусто и пахло озоном от кондиционеров.

— Ты не полетишь, — сказал он.

Мара остановилась. Оглядела его — сверху вниз, будто прибор, показавший ошибку, — и в этом взгляде не было ни капли тепла, только внимательная, взрослая усталость.

— Здравствуй, пап. Шесть лет. Хорошо выглядишь. — Она произнесла это без выражения, констатируя, как заносят в журнал. — Врёшь. Плохо выглядишь. Не спишь.

— Мара, послушай меня один раз.

— Я инженер систем с допуском, каких в стране восемь человек, — сказала она ровно, не повышая голоса. — Меня отобрали не потому, что я твоя дочь. Меня отобрали, — она чуть запнулась, впервые, — из-за слуха.

— Какого слуха?

— Мама водила меня в детстве, к сурдологам. Аномалия слуховой коры: я слышу интервалы там, где другие слышат один звук. Идеальный резонансный слух, редкость один на миллион. Это лежало в архиве под нашей фамилией сорок лет. — Она усмехнулась, коротко и невесело. — Комиссии нужен человек, который сможет «услышать» строй объекта. Они прогнали базу и нашли меня. По фамилии. По твоей фамилии, пап. Так что да. Я лечу из-за тебя. Но не так, как ты хотел бы думать.

Он хотел сказать: там опасно. Хотел сказать: оно разгоняется, я будил его, я не понимаю, что это и где предел. Хотел сказать: я звонка твоего не принял той ночью, прости, я всегда, всю жизнь выбираю не то. Вместо этого он сказал единственное, что умел, — правду про работу:

— Оно реагирует на воздействие. Каждый зонд ускоряет отклик. Я не знаю предела. Если вы подадите на него энергию вблизи, при контакте...

— Знаю, — сказала Мара. — Я читала твои же данные внимательнее тебя. Я всегда читала тебя внимательнее, чем ты меня. — Двери лифта раскрылись с мягким вздохом. Она шагнула внутрь и обернулась, и на секунду в ней проступила не броня, а что-то очень молодое и очень уставшее. — Тим спрашивал про тебя. Показал рисунок, сказал: «это дедушкина звезда, чёрная». Я не знала, что ответить. Я вообще не знаю, что про тебя отвечать. — Двери начали сходиться. — Не звони. Ты не умеешь. У тебя всегда линия занята.

Створки сомкнулись. Он остался в пустом коридоре. Правая рука сама поднялась к стене и отбила по холодному пластику: та-та, та́-та-та. Вверх. Он не заметил. Слова «дедушкина звезда, чёрная» стояли в нём и не растворялись, и он не понимал, почему от детского рисунка ему так холодно.

Тао ждала его у выхода, на морозе, без пальто, будто ей было всё равно, что июль на календаре, а над Москвой в ту ночь стоял странный, не по сезону промозглый ветер.

— Он форсирует старт, — сказала она без предисловий. — Шесть суток. Знаешь, почему шесть? Потому что через шесть суток — сетка вещания, прайм, три миллиарда зрителей и годовой отчёт агентства. Он не миссию торопит. Он эфир ловит.

— Лена...

— Ты расшифровал узор? — перебила она. — Я знаю, что расшифровал. Ты не спишь третьи сутки, у тебя лицо человека, который что-то понял и боится сказать вслух. Что ты понял, Алёша?

Он молчал. Она подошла ближе, и в свете фонаря он увидел, что ей страшно, — а Тао не боялась ничего, он знал её двадцать лет, она спорила с академиками, как с официантами.

— Это не картинка, — сказала она тихо. — Не роспись, не герб, не «привет из космоса», который так хочется показать в прайм-тайм. Это интерфейс. Узор — орган управления. А

сфера — не находка. — Она отчеканила каждое слово: — Это. Выключатель. И мы шесть дней будем в прямом эфире жать на кнопки, не зная, что они делают и что выключают.

— Ты не можешь этого знать наверняка.

— А ты можешь, что нет? — Она сунула ему в руку блокнот, тёплый от её ладони. — Я подала протокол. Требую отложить контакт до полной расшифровки интерфейса и запрета на любую подачу энергии. Орлов снял меня с проекта сегодня в три. Официальная формулировка — «дестабилизирующий пессимизм, несовместимый с задачами миссии». — Она горько улыбнулась, и пар от дыхания рванулся вбок на ветру. — Двадцать лет я писала, что константы не абсолютны, что их что-то держит и это что-то можно сбить. Двадцать лет мою статью цитировали как пример красивой чепухи. Один рецензент написал: «автору стоит помнить, что физика — не музыка». — Она невесело хмыкнула. — Двадцать лет я была права в пустой комнате. Теперь комната полная, все смотрят на экран, и всем всё равно, что я говорю.

Она пошла прочь по мокрому асфальту и, не оборачиваясь, бросила через плечо:

— Спроси себя, кто её будил. Аномалию. Спроси, чьи это были зонды. И спроси, кого ты отправляешь её касаться.

Он стоял с её блокнотом в руке и не открывал его. Открывать было незачем. Он и так знал оба ответа. Зонды были его. И касаться отправляли — его дочь.

Следующие дни он потратил на то, чтобы остановить старт, и убедился, как крепко заперта эта дверь.

Он написал в научный совет — вежливую, выверенную докладную, где на трёх страницах, без единого лишнего слова, изложил кривую разгона, риск подачи энергии, рекомендацию отложить контакт. Ему ответили через сутки формулой, в которой он узнал руку Орлова: «Изложенные опасения носят гипотетический характер и не подкреплены прямыми наблюдениями. Миссия проходит по утверждённому графику». Гипотетический характер. Он держал в руках доказательство, что вселенная просыпается от их прикосновений, и это называлось гипотетическим, потому что подтвердить его можно было только одним способом — тем самым, которого он и боялся.

Он пошёл выше. Добился приёма у куратора от коалиции — усталого человека с добрыми глазами, который слушал его двадцать минут, кивал, а потом сказал: «Алексей Петрович, я вам верю. Но вы понимаете, сколько на это поставлено? Эфир, престиж, бюджет на десять лет вперёд. Отменить сейчас — значит признать, что мы разбудили нечто опасное и не справились. Никто наверху этого не подпишет. Проще пролететь». — «А если там гибель?» — спросил Иванов. Куратор развёл руками: «Тогда её всё равно уже не остановить, так пусть хоть будет красиво». И Иванов понял, что это и есть та самая высокомерная логика, из-за которой падают цивилизации: не злоба, а инерция; не заговор, а всеобщее нежелание первым нажать на тормоз и оказаться тем, кто испортил праздник.

Он даже пытался поговорить с командиром экипажа напрямую, через служебный канал, но получил вежливый отказ: экипаж в предстартовом карантине, посторонние контакты запрещены. Посторонний. Он был отцу инженера систем — и был для системы посторонним. В последний вечер перед стартом он сидел в пустом кабинете и понимал, что сделал всё, что мог сделать словом и бумагой, и что слова и бумага против машины, которая хочет своего триумфа, не весят ничего. Оставалось только то, что он умел лучше всего и что ненавидел сейчас сильнее всего, — понять. Понять устройство беды до конца, раз уж отвести её не дали.

И той же ночью, один, в опустевшем зале, где только что выключили телевизионный свет и всё казалось после него тусклым и настоящим, он всё-таки расшифровал узор до конца.

Он не был плоским. Иванов знал это чувство — когда решение не приходит, а *проступает*, будто оно всегда лежало под поверхностью, как линии под коркой сферы, и ждало, пока

смотрящий устанет достаточно, чтобы перестать себе мешать. Он крутил модель на экране, накладывал проекции, поворачивал, и вдруг увидел: петли и соединения не нарисованы на шаре. Это тень. Трёхмерная тень чего-то, у чего измерений больше трёх, — так тень куба на стене выглядит странным шестиугольником, если не знать, что это куб. Он смотрел на плоскую тень многомерной структуры и впервые за шесть лет засмеялся вслух в пустом зале, и смех отдался эхом под высоким потолком и напугал его самого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.